

ПРОТЕСТ ПРОТИВ «ОБВИНИТЕЛЬНОГО АКТА» ЧИЧЕРИНА

К ВОПРОСУ О РАЗНОГЛАСИЯХ СРЕДИ РУССКИХ ЛИБЕРАЛОВ
В КОНЦЕ 50-х ГОДОВ XIX ВЕКА

Публикация С. С. Дмитриева

Известна острая политическая полемика, возникавшая в связи с появлением в л. 29 «Колокола» от 1 декабря 1858 г. статьи либерального профессора Б. Н. Чичерина «Обвинительный акт». Эта статья продолжала длительные и безуспешные попытки либералов подчинить Герцена идеологии либерализма.

Опубликованию статьи предшествовало посещение Чичериным Герцена в Лондоне в сентябре 1858 г. Чичерин объяснял свое посещение так: «Мне хотелось основательно с ним переговорить о современном положении и посмотреть, нельзя ли направить его в смысле, полезном для России» («Воспоминания Б. Н. Чичерина. Путешествие за границу». М., 1932, стр. 49). Попытка Чичерина при личной встрече убедить Герцена в необходимости соблюдать умеренность и кроткий тон по отношению к самодержавию, затевавшему реформы, разумеется, потерпела неудачу. Такая же участь постигла письменное обращение Чичерина. 11 октября того же 1858 г. он обратился к Герцену из Парижа с письмом, в котором вновь советовал «умерить тон», уверовать в благие начинания царя Александра II («Вольное слово», Женева, 1883, № 61-62). На это письмо Герцен ответил публично. Его заметка «Нас упрекают», опубликованная в л. 27 «Колокола» от 1 ноября 1858 г., содержала острую критику взглядов либералов, подобных Чичерину. Конечно, Герцен не назвал имени Чичерина, но верно определил принадлежность его к «доктринерам» и «либеральным консерваторам». На заметку Герцена Чичерин ответил большой статьей, полной нападков на революционно-демократический лагерь, на боевой дух «Колокола». В сопроводительном письме от 11 ноября 1858 г. Чичерин писал: «Мне, признаюсь, хотелось заявить публично, что, по крайней мере, часть русской литературы не сочувствует вашему направлению» (IX, 407).

Герцен напечатал присланную Чичериным статью под заглавием «Обвинительный акт», обозначив автора, согласно его желанию, инициалом Ч. Во вступлении к статье Герцен подчеркнул всю глубину своего разрыва с чичеринским либерализмом. «Обвинительное письмо, печатаемое нами сегодня,— заявил Герцен,— существенно отличается от прошлых писем против „Колокола“. В тех был дружеский упрек и тот дружеский гнев, в негодовании которого звучала знакомо и приветливо родная струна. Ничего подобного в этом письме. Те были писаны с *нашей стороны*, оттого в самых несогласиях и упреках было сочувствие. Это письмо писано с совершенно *противной* точки зрения, т. е. с точки зрения административного прогресса, губернментального доктринаризма» (IX, 405).

«Обвинительный акт» Чичерина явился программным документом всего либерального направления конца пятидесятых годов, сознательно противопоставлявшего себя идеологии революционных демократов. Однако резкий тон статьи, напористость и прямолинейность ее автора в обнаружении сущности либерализма как политического направления, державшего курс на сотрудничество с самодержавием, понравились не всем либералам. Е. Ф. Корш и Н. Х. Кетчер вполне поддержали Чичерина за его решительный тон. В то же время К. Д. Кавелин направил Чичерину протест против «Обвинительного акта» и письмо за подписями И. С. Тургенева, П. В. Анненкова, И. К. Бабста, Н. Н. Тютчева, А. Д. Галахова, И. И. Маслова, А. И. Скребицкого, в котором они солидаризировались с кавелинским протестом. Кавелин упрекал Чичерина в том, что он в своем выступлении обращался к Герцену, как к решительному революционеру, в то время как Герцена, по мнению Кавелина, следовало рассматривать прежде всего как публициста, не исключавшего и пути мирных реформ. Таким образом, разногласия, возникшие между Кавелиным и Чичериным, касались лишь вопроса об отношении к Герцену, о возможности и средствах привлечения Герцена в свой лагерь.

«Основная мысль вашего письма как нельзя вернее»,— обращался к Чичерину

Кавелин в своем протесте (IX, 418). Именно поэтому Кавелин и высказал прямое нежелание увидеть свое письмо-протест напечатанным в «Колоколе» или где бы то ни было. Он ограничился просьбой к Чичерину переслать его письмо-протест к Герцену «для собственного только сведения».

Между тем «Обвинительный акт» Чичерина вызвал много откликов современников и возбудил большую полемику. В редакцию «Колокола» поступило значительное количество писем, главным образом с критикой «Обвинительного акта».

Некоторые из писем были помещены в «Колоколе». В л. 30-31 Герцен напечатал неподписанное письмо, сопровождавшее статью, направленную против Чичерина. Как установил Лемке, материалы эти были присланы В. А. Панаевым (IX, 441, 485—495). В том же л. 30-31 Герцен писал: «...desorum oblige* не печатать статей за себя» (IX, 440). На это В. А. Панаев отвечал Герцену: «Позвольте мне вам заметить, что если вы прочтете еще раз наш протест, то вы увидите, что основной смысл его — не защита вас, но защита принципа...». Герцен согласился и в л. 32-33 напечатал и это «Письмо к издателю „Колокола“» (подпись: «Русский») и ранее присланную статью В. А. Панаева, озаглавленную «Автору „Обвинительного акта“ г. Ч.» (без подписи). В том же листе Герцен счел нужным опубликовать со своим примечанием также и «Письмо в защиту г. Чичерина» (подпись: «А. Спартанский»).

В л. 39 от 1 апреля 1859 г., в заметке «Еще и еще письма против „Обвинительного акта“, помещенной в 29-м листе „Колокола“, Герцен благодарит русских людей, оказывающих ему поддержку в борьбе с Чичериным, но вновь заявляет о своем намерении отказаться от дальнейшего помещения статей против «Обвинительного акта». Вместе с тем Герцен писал в этой заметке: «В последних письмах, сверх диатриб против ученого критика моего, множество чрезвычайно интересных вещей о России,— их мы помещаем с искреннейшим удовольствием» (IX, 532). Далее, под заголовком «Из первого письма», следовало сообщение о положении в России.

12 марта Герцен писал М. К. Рейхель: «Будет ли второе в „Кол(о)коле“, не знаю». В приписке же к этому письму, сделанной 17 марта, Герцен извещал свою корреспондентку: «Получил ваше второе письмо; лучше, кажется, не печатать письма,— бог с ними». А спустя еще десять дней, в новом письме к Рейхель, от 27 марта, Герцен сообщал: «Отрывок из письма против Ч. будет, но всего не хочу помещать, надоело» (IX, 529—530, 531).

Можно предположить, что «второе письмо», о котором говорится в переписке с Рейхель и которое было получено от неизвестного нам лица при ее содействии, и было тем текстом, который Герцен частично напечатал под заголовком «Из второго письма» в следующем, 40-41, листе «Колокола» от 15 апреля 1859 г.

Выражая свое удовлетворение по поводу этой демонстрации сочувствия к «Колоколу» и его издателям, Герцен в письме к М. К. Рейхель от 25 марта/6 апреля 1859 г. следующим образом характеризовал суть позиций — своей и Чичерина: «Зато, надобно правду сказать, я и не ждал той симпатии, которой завален. Всякую неделю приходят письма; вся молодежь за меня. Разделение это с прорадательских времен идет: яacobинцы и жиронда, дерзость наша канцелярски-шляхетная» (IX, 535).

В бумагах «пражской коллекции» сохранился подлинник этого «второго письма». Несколько листов из середины и конца рукописи отсутствуют. Однако и в таком виде рукопись дает возможность ознакомиться с текстом больших купюр, произведенных Герценом. Герцен сделал оговорку, что печатает письмо не полностью, и дал ему вместо имевшегося в автографе заглавия «Письмо из России по поводу обвинительного акта г. Ч.» новый заголовок — «Из второго письма» и следующее подстрочное примечание: «Мы просим вспомнить несколько строк, помещенных нами в начале прошлого листа перед отрывками „Из первого письма“». Выпущенные при печатании в «Колоколе» места представляют значительный интерес для понимания внутренних течений в либеральном лагере.

Письмо-протест Кавелина по поводу «Обвинительного акта» Чичерина свидетельствовало о тактических разногласиях среди либералов — разногласиях по вопросу

* внешнее приличие обязывает (лат. и франц.).

об отношении к Герцену и «Колоколу», об оценке направления Герцена. «Письмо из России по поводу обвинительного акта г. Ч.» указывало на наличие и других разногласий. Оно свидетельствовало о том, что среди деятелей, относивших себя к представителям «истинно либеральных начал» и действительно являвшихся либералами, есть лица, которые расходятся с «либеральными консерваторами» типа Чичерина не только в вопросе об отношении к Герцену.

Автор «Письма из России» от имени всех тех людей, «которым омерзительно подавать и дружелюбно жать руку существующему у нас порядку или беспорядку, — это все равно», от имени «всех, в ком свежи чувства свободы, в ком истинно либеральные начала не поражены еще старческим одряхлением», выражает возмущение и протест против «Обвинительного акта» Чичерина. В дальнейшем автор подвергает острой и последовательной критике ту «составную часть» либерального направления, которая вполне выразилась в «Обвинительном акте» как часть, деятели которой «час от часу все более и более обнаруживаются страшными *охранителями*», часть, представляющую «самое полное выражение» «скопчески-либерального направления». Обвинительное письмо Чичерина лишено «живой души», оно «несравненно хуже даже Выбранной переписки Гоголя, с которой по духу и направлению совершенно сходно». Все содержание письма указывает, что автор его рассматривает политические позиции Чичерина именно как позиции «либерального консерватизма», по меткому слову Герцена. Автор с сожалением констатирует, что «с каждым днем все больше и больше обнаруживается», что русские либералы «не люди Декабря», а «люди слов», робеющие «перед всяким честным гражданским делом». Но в то же время автор благодарит Герцена за то, что он «не доктринер, а книгопечатальщик людей, страдающих в России», что издатель «Колокола» — «общий наш голос, вопиющий и взывающий к [нашему доброму] царю, — а он [не слышит или] не хочет слышать, — так <и> к здравому смыслу, который, наверно, проснется же в русской земле, так богато, говорят, им наделенной» (слова, взятые в прямые скобки, были исключены Герценом при напечатании письма в «Колоколе»).

Автор возмущен выпадом Чичерина против «фарса, сочиненного на Панина» и напечатанного в «Колоколе», и с гневом пишет о придворной камарилье, «которая окружает государя и сквернит его дорогое имя в народе». Автор выражает чувство боли, чувство ненависти против злоупотреблений и подлостей правительства, но «дорогое имя» царя, видимо, еще дорого для него самого. Автор заявляет, что у него и людей, ему подобных, нет программы, определяющей их действия. Автор всецело за смелое обличительное слово Герцена, но с его точки зрения напрасно люди, подобные Чичерину, упрекают Герцена в недостатке осторожности, обдуманности, «как будто вы и в самом деле печатаете воззвания, пишете проекты, как учредить республику, как распорядиться с существующими властями».

Кто был автором этого интересного письма, выяснить пока не представляется возможным. Текст письма кое в чем близок к упомянутым откликам В. А. Панаева на «Обвинительный акт» Чичерина, однако все эти отклики имели довольно определенную программу и выражали значительно более радикальные настроения в тактических вопросах.

Сохранившийся в «празжской коллекции» подлинник письма позволяет, как сказано, конкретнее представить себе разногласия среди либералов конца пятидесятых годов, обнаружившиеся в связи с появлением «Обвинительного акта» Чичерина. Не следует, конечно, переоценивать степень глубины и серьезности этих разногласий. Но для историка нет оснований и игнорировать их. Сопоставление рассматриваемого письма с письмом-протестом Кавелина показывает, что лица, от имени которых написано «Письмо из России...», в отличие от Кавелина, расходились с Чичериным не только в тактических вопросах.

Ниже печатается сводный текст «Письма из России по поводу обвинительного акта г. Ч.». Места, отсутствующие в рукописи, воспроизводятся по печатному тексту «Колокола». Зачеркнутый Герценом в рукописи текст приводится нами в прямых скобках. Основные различия с текстом «Колокола» — результат прямого редакторского вмешательства Герцена — даются в подстрочных примечаниях.

ПИСЬМО ИЗ РОССИИ ПО ПОВОДУ ОБВИНИТЕЛЬНОГО АКТА г. Ч.

[Письмо г. Ч., напечатанное вами в 29 №, поразило, возмутило всех, в ком свежи чувства свободы, в ком истинно либеральные начала не поражены еще старческим одряхлением. На людей, которые не привыкли, которым омерзительно подавать и дружелюбно жать руку существующему у нас порядку или беспорядку,— это все равно,— на людей, не только размышляющих, но вместе с тем, как вы прекрасно сказали, и страдающих, это письмо произвело самое тяжкое, гнетущее впечатление. Мы спешим всеми силами протестовать против него и как умеем заявляем вам этот протест.

Письмо г. Ч., как какой химический реагент, тотчас обнаружило, уяснило составные части нашего либерального направления. Все мы взглянули друг другу в глаза, все мы увидели, что интересы наши, главным образом, вращаются около пустейшей, высокопарной болтовни, которою в наивности мы утешались как действительным делом и которая поэтому вполне заменила для нас дело.

Мы увидели, что весь либерализм некоторых господ был не что иное, как мираж, потешный огонь остроумия. С горестию мы увидели, что другие люди, которых прежде по многим весьма уважительным причинам ставили мы слишком высоко, как, например, честных, стойких, неподкупных представителей и поборников всех свободных начал, возможных здесь для человека, для общества, что и эти люди совсем не так тверды, как казалось, что и они час от часу все более и более обнаруживаются страшными *охранителями*. Мы вообще увидели, что письмо г. Ч. есть самое полное выражение того скопчески-либерального направления, которое обладает здесь довольно полновесными голосами, и которое, при совершенной отрешенности от живого сочувствия всякой свободе и живого непосредственного чувства нашей действительности, претендует на глубокое знание и понимание насущных потребностей русского общества и их разумного удовлетворения.]

Да! удивили нас наши либералы *. О, Николай Павлович! как он ошибался в русских людях, преследуя, тесня их за либеральные... о ужас! даже за революционные стремления и тенденции. Он, невинный, вовсе не догадывался, что весь наш либерализм дальше острых и резких слов, дальше шумной беседы никуда не шел; он не догадывался, что эти-то самые преследования, эти строжайшие надзоры полиции, обыски, ссылки ставили нас только в ложное положение, придавали нам фальшивое освещение, делали самых невинных добрых людей как будто в самом деле либералами, накидывая на них яркую тогу отчаянных головорезов, демократов, демагогов. А мы просто-напросто были только болтуны и остроумники, не щадившие лишь для красного словца, как говорится, ни матери, ни отца. Умер Николай Павлович. Унес он с собою весь наш либерализм, унес, по крайней мере, точку нашей опоры. Теперь мы летим со всех ног. Николаевский тугой ** канат, который мы из всех сил тянули своим остроумием,— порвался. Образ действий изменился. Слов, и одних слов, за которые мы прослыли такими *красными*, стало недостаточно. Пришло время действовать, делать что-нибудь. В самом воздухе носится потребность дела. Но что же, как же мы будем делать, когда все лучшие годы наши провели только в бесплодной и пустой болтовне, шуме, крике? Разве возможно нам понять теперь, что слово не есть дело, разве возможно это понять, когда Николай Павлович наши слова принимал за дела и, как за дела, строжайше нас преследовал за вздорные, хотя и бой-

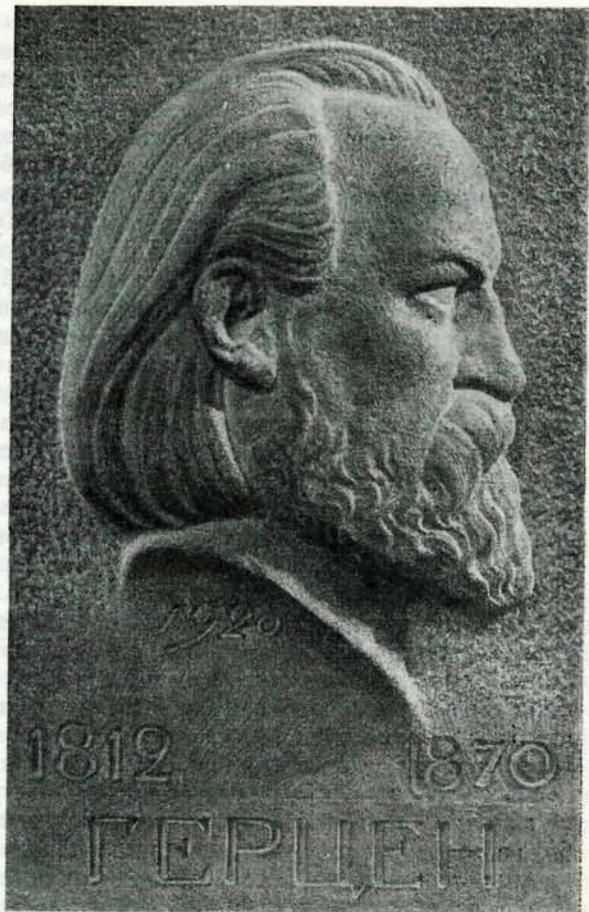
* Слово *либералы* — в «Колоколе» выделено курсивом.

** Слово Николаевский тугой — в «Колоколе» отсутствуют.

ГЕРЦЕН

Рельеф работы Н. А. Андреева,
1920 г.

Третьяковская галерея, Москва



кие, резкие речи? При такой высокой и высочайшей оценке нашей болтовни нельзя было не убедиться каждому говоруну, что он и в самом деле что-нибудь значит, т. е. делает дело. Но канат, натягивавший нас на либерализм, порвался. Небо как будто несколько прояснилось; в сплошной массе густых, темных облаков стали показываться, как говорят, окошки, в которые время от времени пробиваются оживляющие, согревающие лучи солнца. Поверите ли, а ведь это правда: мы, либералы, почти* удовлетворились. Да и как было не удовлетвориться? По правде сказать, ведь, собственно, мы ничего не искали, ничего не требовали, а потому ничего не ожидали. Целей у нас никаких не было. Мы почувствовали себя совершенно облагодетельствованными и громко заголосили против даже малейшего сомнения, что погода *не разгуляется* да и не может разгуляться, потому что направление ветра остается все то же... Инстинктивно, по чувству самосохранения, стали мы на сторону так называемого правительства, потому что эта позиция совершенно освобождает нас от всякого дела. Правительство делает хорошо, либерально — следовательно, нам можно сидеть сложа руки и попрежнему только словопреть о том, как смелые головы, люди, жаждущие работы и работающие, *портят дело*. С большим усердием и заботою мы *охраняем* почти каждый шаг правительственных распоряжений. Чуть где раздастся звонкое свободное слово, явится действие, поступок, обнаруживающий единственно только потребность самостоятельного, не крепостного существования, — мы кри-

* После: почти — в «Колоколе»: совсем

чим из всех сил, что это мальчишество, что это ни на что не похоже, что этим испортят все дело. Никак не можем мы этого понять, что если дают крохи, оскребки какой-нибудь самостоятельности, свободы, так ведь нужно же кому-нибудь ее брать и во имя ее действовать. Делать нечего, если мы не умеем ею пользоваться и продолжаем только словопреть. Не будем мешать другим, пусть кроха свободного действия берется детски неопытною рукою, когда наши опытные в либерализме руки привыкли только тыкать в воздухе для более усиленных доказательств при наших словопрениях. Нет, с каждым днем все больше и больше обнаруживается, что мы — увьи! — не люди Декабря, что мы, собственно, люди слов, что перед всяким честным гражданским делом мы просто робеем, пугаемся и не решаемся ни на что. Под самым нашим носом проходят, задевая нередко и нас самих, вопиющие безобразия... Правда, мы и здесь кричим, но не от боли оскорбленного чувства, а так, «шумим, брагед, шумим», сходимся, советуемся, толкуем, спорим чуть не до драки и тем кончаем дело или свое участие в деле. Всякий поступок, решительный шаг — для нас нож вострый. Как этого никто не поймет, что в отношении всякого практического дела мы не способны соломинки поднять, что все наши таланты и силы только в одних словах?

[Вот причина, почему мы так обрадовались и письму г. Ч., обрадовались, смешно и горько сказать, заодно с заматерелыми николаевскими генералами, заодно с заматерелыми грабителями и мироедами, наполняющими наше правительство. Это письмо как нельзя лучше угодило нам. Заявив свои высокие требования, которые, очень понятно, в настоящую пору ни все русское общество и ни один из современных русских людей, где бы он ни был, ни даже сам автор со всеми мыслящими и просвещенными людьми выполнить не может, — это письмо тем самым совершенно освободило нас от всякой положительной работы; мы обрадовались ему, как якорю спасения, как программе, по которой можем с большею свободою, определенностию и полнотою продолжать свой подвиг — нескончаемые словопрения с беспощадной критикой и неистощимым остроумием, направленным против кого же? Против рабочих, которым во всех смыслах и отношениях мы обязаны бы помогать всеми силами и которым мы даже не даем и того, что у нас слишком изобильно, — слов, слов одобрения, столько оживляющих трудную, тяжелую работу. — Да! слова и слова, рассуждения и осуждения, эквилибристика ума — точно как в филаретовских проповедях.]

Но где же сердце, где ж накипевшая горечь всякой неправды, какую мы каждый день и каждый час видим перед собой, под своим носом? Где ж чувство человека, оскорбленное и постоянно оскорбляемое презрением от всякого рода властей, не только министров, генерал-губернаторов, но даже будочников? Неужели и в самом деле все зло, в котором мы купаемся, есть только предмет остроумия и болтовни? Неужели наше чувство так заматерело в этой праздной и шумной * болтовне, что им уже не шевелит ни одно свежее, живое стремление к свободе, и боже мой, к какой свободе? к сохранению только прав человеческого достоинства, которые попираются презрительно всеми пошлыми и подлыми ногами, так самодержавно расхаживающими по нашей родной, забитой и закабаленной Руси.

[Но будет о наших либералах, о которых без горести и без горечи мы не можем и помыслить. Перед нами письмо г. Ч. — Документ прекуррьезный. — С первого раза мы здесь не видим «живой души» — в этом отношении оно несравненно хуже даже Выбранной переписки Гоголя, с которой по духу и направлению совершенно сходно. Неужели это голос человека,

* В «Колоколе»: пустой

который одною жизнью с народом принимал к сердцу его боли? Нет, это сухое резонерство немца-теоретика, отыскавшее равновесие государственных властей там, где есть только орда грабителей и разного рода шулеров, подтасовывающих официальные указы, высочайшие повеления, отчеты и т. д. и навверняка обыгрывающих государя и православный народ. «Какая почва для политического писателя, — восклицает Ч. — правительство, ищущее опоры...». И потом поучает, что для политической деятельности необходимы обдуманность, осторожность, ясное и точное понимание вещей, спокойное обсуждение цели и средств. Что у нас общество должно купить себе право на свободу разумным самообладанием... Что нам нужно независимое общественное мнение, умеренное, стойкое, с серьезным взглядом на вещи, с крепким закалом политической мысли...». Все это аксиомы. Но к какой стороне относятся эти запросы и требования? Какую утопию они разрисовывают? — Правительство! Не правда ли, как это слово, совершенно понятное и разумное, в связи с целою теориею государственного права, странно звучит в наших русских ушах.]

Правительство ищет опоры! * Кто же это ищет, какая власть, какое лицо — чем обнаруживается это искание? Какой опоры ищет? ** Ищут ли опоры государственный совет, комитет министров, Панин, Муравьев, Тимашев, митрополит Григорий, Закревский, московское губернское правление, такой-то земский суд, такой-то частный пристав, такой-то секретарь, столоначальник?.. Ведь все эти лица — правительство. Где у нас органы его, которые имзели бы право объявить, что ищут опоры и какой именно? Где у нас идеальное равновесие властей? [Боже мой! Да разве неизвестно автору, отчего вся эта страшная разладица, все это безобразие в нашей земле, как не от того, что] *нет у нас правительства* и [что] организация властей такова, что самый добросовестный ***, честный человек принужден бывает сознаться в невозможности действовать на общую пользу? Разве неизвестно, что вместо правительства существуют у нас иерархически составленные полки чиновников, волею и неволею обманывающие друг друга в миллионах бумаг; что обман, ложь, лицемерие и всякая писанная неправда служит нам законом и покрывает все наши законы, что министры нагло надувают государя, нагло делают распоряжения помимо его повелений и решений, так что, в сущности, неограниченность нашего самодержца — вообще дело сомнительное. Во многих случаях Орлов, Панин, Закревский да и всякий министр, всякий генерал-губернатор являются выше власти государя и всегда заставляют ее плясать по своей дудочке. В этом громадном сцеплении обманов, лицемерия, лжи, надувательства трудно, совсем невозможно сложить на кого-либо одного всю вину. Здесь всё рука руку моет. И после того вам говорят, что вы могли бы умеренностью, осторожностью и разумным обсуждением общественных вопросов внушить к себе доверие этого почтенного правительства, — какая глубокая несообразность этих слов с действительностью! Можно ли ожидать доверия там, где, какого бы вопроса вы ни коснулись, особенно серьезным образом, вы непременно наткнетесь на такую правду о предрержащих теперешних властях, обнаружение которой они, конечно, не простят никому и, само собою разумеется, постараются представить вас опасным революционером, которого следует отдать под строжайший надзор полиции. Остается одно: лицемерить перед каждою властью для того только, чтоб убедить ее в разумности ваших требований, желаний. Но это значит ронять свое человеческое достоинство и окончательно губить дело честной, откровенной, неподкупной гласности, кото-

* Слова: Правительство ищет опоры — в «Колоколе» выделены курсивом.

** Далее в «Колоколе»: и где?

*** Следующий далее текст, до слов: и уж самое меньшее — приводится по «Колоколу». Соответствующие листы рукописи не сохранились.

рая — рано ли, поздно ли, — а восторжествует. Правительство ищет опоры! Да это только можно говорить в каком-нибудь прекрасном далеко, откуда писал свою избранную переписку Гоголь. Здесь мы и признаков не видим, чтоб правительство к чему-нибудь прислушивалось. Оно еще так верит в свою непогрешительность, в могущество и разумность самого себя, что и в голову ему не приходит отыскивать опоры где-либо в другом месте, кроме III Отделения. Наоборот, оно тотчас же уничтожает всякое благородное, благонамеренное, честное стремление помочь ему. Оно презирует едва, едва оживающее мнение, вместе с литературою, которую вообще считает ребячеством. В каждом проявлении общественного мнения, которое, естественно, весьма редко совпадает с видами правительства, т. е. Панина, Ковалевского, Буткова и братии, оно видит протест, демонстрацию против законных властей. В каждом свободно, хотя бы и очень умеренно сказанном слове оно слышит революционный возглас, призывание к топору. Не только «Колокол» считается революционным, но некоторые из наших журналов называются красными. С точки зрения нашего правительства, все почитается красным, что только заявляет какой-либо самостоятельный, свободный голос. Нет, наше правительство еще не привыкло, даже не думает привыкать к свободной речи. Да что говорить о правительстве — на самих нас еще как-то странно действует всякая свободная речь; в слове, в котором иной раз ничего более не выражается, как только чувство свободного достоинства, мы сами еще видим чуть не дерзость, оскорбление величества, революционный возглас. Удастся на обеде или печатно вымолвить простое слово, заявить свободную мысль, сказать что-нибудь по-человечески, а не по-лакейски, простым словом здравого смысла, а не риторикой холопства, — мы в каком-то угаре от своей храбрости и чувствуем, что поступили страшно геройски. Да и может ли быть иначе? Если каждый самостоятельный, свободный шаг признается от правительства за революционный, то как же в самом деле не признать и себя революционером, красным республиканцем, произнеся два-три свободных слова? С вас таинственно берут подписку в публичке не обедать и речей на обедах не говорить. Как же не почувствовать себя страшным либералом? И посмотрите, в каком мы бываем торжестве, если подчас удастся нам сквозь цензурную решетку показать, как говорится, кукиш в кармане.

Только что подумаешь, вот, слава богу, кажется, все идет порядочно: в литературе запах весны, и царь-батюшка услышит же, наконец, наши споры, наши вздохи... Ничуть... смотришь, цензор удален... смотришь, Ковалевский составил цензурный устав, не только со включением всех николаевских циркуляров, но даже и с собственными прибавлениями, еще позабористее тех циркуляров, так что даже Блудов, которому до этого дела не было, принужден был протестовать, объясняя просвещенному министру, что николаевские циркуляры были мерою временною, вызванною тогдашними обстоятельствами, и что теперь они не только не полезны, но даже и вредны. Правительство ищет опоры! Ну, положим, что вы, я, другой, третий желает подать руку помощи, желает раскрыть такие-то и такие-то злоупотребления, раскрыть после источники добра, и т. д. Как бы вы довели это до сведения правительства? Если оно узнает, что вы открываете ему себя помощником, маленькою точкою опоры — да оно сотрет вас с лица земли. «Военный сборник», например, передан другой редакции, потому что прежняя редакция открыто желала принести пользу правительству, желала по силам ответить пресловутому исканию опоры. Автора статьи «О сельском духовенстве», напечатанной в «Заграничном сборнике», чуть было не сослали на каторгу * и уж, самое меньшее,

* Далее текст нами приводится снова по рукописи.

власть, какой подвернемся под руку, мы еще не то, что от сильного, да и от слабого обидчика не знаем, где найти себе управу. Где тут обольщать себя мыслию о разумном самообладании? Как тут понять весьма понятные, только не для нас, слова и поучения: в вас не должно быть нетерпения, пылкости, неустойчивых требований, неразборчивости в средствах, когда приходится хлопотать еще только о самых первых насущных потребностях благоустроенной гражданской жизни. Хлеба нет у нас, хлеба. Мы умираем с голода, а вы умничаете и проповедуете нам об умеренности, терпении, осторожности, разборчивости в средствах. Нет, милостивый государь, не верьте этим голосам. Так могут говорить или дряхлые говоруны-либералы, не привыкшие ни к какому серьезному делу, или молодость, еще не жившая нашу действительностью и пока еще только участвующая, осуждающая насущные наши вопросы, а не ощущающая их жизненной силы и тягости. Человек с сердцем, глубоко сочувствующим нужде и бедствию, глубоко оскорбленным неправдою и насилием, которые ежечасно совершаются пред нашими глазами и стали уж явлением обыкновенным, такой человек не станет резонерствовать, не станет спесиво и холодно рассуждать там, где, кроме плача и стонов, ничего не слышно. Это люди *мыслящие*, для которых всякое зло, всякая неправда, как бы ни была она вопиющая, есть только предмет для размышления и рассуждения, а не предмет сердечной боли и глубокого негодования. Трудно им, людям аксиом, математических формул, логических отвлеченностей, понять, почувствовать живое слово действительности. Еще не таких упреков они вам наделают за иные слова, за иные фразы. Как им понять, например, что фарс, сочиненный на Панина и вами напечатанный, есть типическое изображение этого господина, что в действительности вся деятельность Панина есть не что иное, как фарс, составленный из тысячей нелепостей, одна другой поразительнее, и что напечатанный фарс вполне, типически характеризует эту пошлую деятельность? Знает ли г. Ч., что при всех этих нелепостях, о которых все говорят со смехом, но немногие со скорбью и негодованием, долговременное управление этого человека, его кредит, тайные интриги и сделки, которыми он держится, принадлежат к числу самых грустных и в то же время самых сильных доказательств огромного, всеобщего разврата в нашем управлении, неспособности и круглой недобросовестности нашего правительства или этой пайки официальных шулеров, которая окружает государя и сквернит его дорогое имя в народе.]

Нет, милостивый государь, глубоко, от всего сердца мы благодарны вам за то, что вы не доктринер, а книгопечатальщик людей, страдающих в России*; что вы общий наш голос, вопиющий и взывающий к нашему добру** царю, — а он не слышит или*** не хочет слышать, — так <и> к здравому смыслу, который, наверно, проснется же в русской земле, так богато, говорят, им наделенной. На долю нашу выпало чувство боли, чувство ненависти; у нас нет программы, определяющей наши действия, мы заявляем свой протест воплем и не виноваты, если не очень разборчивы на слова; нам некогда обдумывать свои протесты, мы не рассуждаем, а страдаем****. Какие тут понимания, темпераменты, когда вас обижают, грабят, режут на большой дороге, называемой русским правительством?

[Милостивый государь, в 30 № «Колокола» вы сказали, что не будете печатать протестов против письма г. Ч., в которых, разумеется, по необ-

* Слова: книгопечатальщик людей, страдающих в России — в «Колоколе» выделены курсивом.

** Слова: нашему добру — в «Колоколе» опущены.

*** Слова: не слышит или — в «Колоколе» опущены.

**** Вместо: а страдаем — в «Колоколе»: и не осуждаем.

ходимости будет высказываться, особенно вам, сочувствие. Нам кажется, вы не имеете на это права. Если вы отдали свое дело на общий суд, то обязаны делать гласным каждое показание по этому предмету. Тем более, что в настоящем нашем протесте, который идет от значительного большинства людей, страдающих в России, мы, кажется, ни слова не сказали собственно о вашем лице, да и не намерены говорить вам о вас же самих. Но как же удержаться и как скрыть нам от вас, что «Колокол», несмотря на осуждение людей мыслящих и просвещенных, все-таки, по их же признанию, сила и власть... *]

Если «Колокол», по сознанию наших противников,— *сила и власть* в русском государстве, то, конечно, не потому, что в нем печатались длинные статьи чисто цензурного содержания, которые, следовательно, могли бы быть напечатаны и здесь. Нет, он сила и власть только по строкам противуцензурным, потому что страшно и неизмеримо ярко освещает темные, мрачные, зловонные углы нашей правительственной системы, которые не только государю, да и нам-то мало известны. Он — наша высшая инстанция, наше спасение от другой силы и власти в русском государстве, от тысячеглавого зверя, именуемого бюрократизмом, чиновничеством,— хвост которого повертывается в земских судах, а голова осклабляется у трона, который ежеминутно отводит глаза государя, чтоб спокойнее пожирать, истреблять свежие, молодые силы даровитого народа. Зверь этот только и боится вашего свободного звона, как и всякого свободного звука; он чувствует, что в этих звуках его смерть. Он чувствует, что только одним «Колоколом» может достигнуть царского уха раздрающий душу народный вопль. Оттого-то он давно успел обойти, уверить, убедить государя, что это призывный звон к крамольному вечу, и царское ухо, к несчастью, воспитанное только военною музыкою да посланною холопскою речью, может быть, и не различает еще ясно, что в этих звуках, действительно, наши боли, наши стоны. Ошибиться легко, когда кто сроду не слыхивал, как плачет человек! Ну мы будем звонить. Человеческое сердце — не камень!

Знаете ли, чего еще не выносят наши рабские уши в свободной вашей речи?...—вашего обращения с чтимыми авторитетами. Знаете ли, что между вашим совершенно освобожденным русским словом и нашими холопскими еще пока понятиями и представлениями лежит целая бездна? Оттого, когда вы называете подлецами, мерзавцами лица, о которых все мы очень хорошо знаем, что они подлецы и мерзавцы,— нас это смущает. Они так у нас не называются. Мы привыкли называть их министрами, генералами, действительными тайными советниками и т. д.; о дальнейшей свободе вашего слова и говорить нечего...

«Все же,— говорят,—так выражаться нельзя!». Поймете ли вы теперь, до какой глубины развращены мы лицемерием и холопством? Вас упрекают в недостатке разумного самообладания, умеренности, осторожности, обдуманности, как будто вы и в самом деле печатаете воззвания, пишете проекты, как учредить республику, как распорядиться с существующими властями. Все эти обдуманности и самообладания выставляются — увы! — по поводу резких, слишком свободных для непривыкших ушей выражений и фраз. Эти фразы, видите, все дело портят. Хорошо же, стало быть, дело, которое может вдребезги разлететься от одной только фразы! Хорошо же, стало быть, либерализм правительства, что от одной фразы может тотчас же свихнуть на николаевский деспотизм? А тут еще у нас мечтают об общественном мнении с крепким закалом политической мысли!

* Дальнейший текст в рукописи отсутствует и приводится нами по «Колоколу».—*Ред.*